

Дмитрий ЛАГУТИН

## УМНЫЙ ГУСЬ

### История одного клуба

Однажды ты станешь таким взрослым,  
что снова начнешь читать сказки.

*К.-С. Льюис*

#### **Предисловие**

Сколько себя помню, я всегда любил совместное чтение — не знаю почему. Из-за этого мне всегда страсть как хотелось состоять в каком-нибудь книжном клубе — собираться, обсуждать, спорить, но главное — читать вместе. И я состоял — собирался, обсуждал, спорил. Клубы менялись, их участники тоже менялись, я вываливался из одного и втискивался в следующий — и так далее, и так далее, как будто переходил из комнаты в комнату. Клубы были разные — многолюдные и не очень, мирные и шумные, с распрямами и склоками, собирающиеся часто и молчащие месяцами, хорошие и — что уж ходить вокруг да около — не очень. В этом же тексте я хочу рассказать о самом лучшем — о крошечном книжном клубе из трех человек со смешным и не самым благозвучным названием «Умный гусь», действовавшем в нашем славном городе на протяжении... дайте-ка подумать... А на самом деле действовал «Умный гусь», вероятно, около года или даже меньше — и прочли мы в нем всего ничего, но... Но в какое же волшебное время он возник, какие чудеса и открытия собой ознаменовал.

Впрочем, не буду торопиться.

В двадцать шесть лет я из молодого мужа превратился в молодого мужа и отца — однушка, раньше вмещавшая двоих, с готовностью приютила третьего — да и не сложно было приютить крошечного младенца, не требующего от мира ничего, кроме маминого тепла и папиной руки в качестве кресла-качалки. Квартира наполнилась запахами присыпки и только что выглаженных пеленок, в ней каким-то особенным образом сгустилась, стала плотной, теплой и тоже как будто сладко пахнущей тишина. Дочь то спала, то ела, то лежала поперек огромного дивана, с удивлением рассматривая люстру, — а мы ходили на цыпочках, пили чай и настраивали колонки так, чтобы из них ненавязчиво звучало что-нибудь благообразное и гармоничное.

В предбаннике обосновалась коляска, и каждый день по несколько раз дочь покидала в ней тихую и теплую квартиру с тем, чтобы путешествовать по округе, спать не под благообразную музыку, а под шелест листвы, птичий свист или гул автомобилей, а мы в короткое время расчертили район маршрутами и приучились шагать не бы-

---

Дмитрий Александрович Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского. Тексты опубликованы в изданиях «Нева», «Москва», «Юность», «Волга», «Урал», «Дальний Восток» и др. Рассказы переведены на китайский и немецкий языки.

стро и не медленно, смотреть по сторонам, прислушиваться и загодя менять курс перед шумными препятствиями — вполне, впрочем, безосновательно, потому что в коляске ребенок, как оказалось, готов спать даже под грохот оркестра.

Гуляли мы то вместе с женой, то порознь, временами подключались, робея, бабушки и дедушки — а время от времени приходила к нам младшая сестра жены, девочка на тот момент двенадцати лет, и она сперва долго сидела на краю огромного дивана, присматривая за племянницей, подсовывая ей игрушки и мягкие, издающие при прикосновении писк книжечки, а потом шла гулять с тем, кто брался курировать путешествие, и то просто шагала рядом, заглядывая в коляску, то толкала ее сама, буксуя по рыхлому снегу и лавируя между ямками, на которые ландшафт наших тротуаров оказался богат. Девочка она была спокойная, тихая, была готова по мере сил помогать сестре в домашних делах и находилась, так сказать, у самого рубежа между детством и юностью — с живым интересом еще откликаясь на плюшевых медведей, кукол в цветастых платьях и позвякивающие стеклянные браслеты, за которыми младенец мог наблюдать, забывая о времени. Часто я, возвращаясь домой из офиса, заставал ее у нас сидящей возле колыбели, в то время как жена — уставшая, растрепанная — гремела кастрюлями и сковородками в кухне.

— Идите скорее гулять, — говорила она мне, принимая пакеты. — Пока не стемнело. А я котлеты дожарю.

Она ставила кухню на паузу, летела в комнату и на пару с сестрой кутала самого младшего из путешественников в комбинезон, меняла подгузники, рассовывала по карманам запасные соски — я в это время сам утеплялся, поддевая свитер с горлом, натягивая на каждую ногу по дополнительному носку, менял пальто на пуховик, а через десять минут уже подпирал плечом подъездную дверь, перекачивая коляску через порог и оглядываясь на погоду: не холодно ли будет, не забыли ли чего? Сестра жены — далее без всяких предисловий и преждевременных разъяснений буду называть ее по имени, полученном в клубе: Акка помогала спустить коляску с крыльца, сменила следом, соскальзывая с узкого тротуара в снег, а потом шла рядом, замотавшись в шарф и посматривая под козырек коляски: не уснула ли еще, не выплюнула ли соску?

Как правило, дочь засыпала еще на выходе из двора — когда дома расступались и перед нами вытягивалась широкая, стиснутая с двух сторон высокими бордюрами аллея, отгороженная от дороги шеренгой тополей, похожих на сторожевые башни, — но иногда бодрствовала до самого перекрестка, кряхтела и шурилась, причмокивая, и тогда нужно было чуть посильнее нажимать на ручку, раскачивать коляску активнее, как лодку на волнах. Я шел, раскачивал и поглядывал — то на дочь, то на Акку — и думал о том, что вот еще совсем недавно, каких-нибудь шесть лет назад, я ее саму подбрасывал на руках, приходя в гости к будущей жене, а теперь она нам помогает, нянчит малыша, и мы с ней бродим мимо тополей, разглядывая округу и перебрасываясь короткими репликами:

— Как в школе?

— Нормально.

— Что читаете?

Акка на такое только рукой махала:

— Скучищу какую-то.

Акка при всей своей воспитанности не любила читать, предпочитала книге мелькающие на экране телефона картинки — и я, все детство не вылезавший из книжного шкафа, вызубривший за тысячу перечитываний «Карлсона» и «Хоттабыча», исходивший вдоль и поперек Изумрудный город и на всю жизнь запомнивший рецепт бенгальских огней от Николая Носова, удивлялся этому и не знал, что сказать, потому что, вероятно, дорос к двадцати шести годам до благодарности к литературе.

И вот не знаю, каким образом появилась в моей умудренной двадцатилетней голове светлая мысль брать на прогулки с Аккой книгу, а только однажды, морозным солнечным днем...

Впрочем, самое время переходить к первой главе.

### Шмелев

Морозным солнечным — вероятно, выходным, потому как время было обеденное — днем я приехал домой и услышал привычное:

— Идите скорее гулять, я пока приготовлю котлеты по-киевски.

Акка была тут же, дочь робко, кончиками пальцев, ощупывала парящих над кроваткой дельфинов — дельфины под мелодичное позвякивание водили хоровод, — за запотевшим окном кухни горел белизной двор.

Я экипировался, закутался так, что хоть на Северный полюс, а уже на пороге стянул ботинок и, пугая соседей, пропрыгал на одной ноге к стеллажу, из которого ловко вытянул, чуть не растянувшись, недавно купленный сборник шмелевских рассказов.

На обложке жались друг к дружке дети в одежде дореволюционного покроя — два мальчика и девочка. Из всех троих только мальчуган в фуражке, восседающий на трехколесном велосипеде, на меня не обращал совершенно никакого внимания и задумчиво смотрел за мое плечо — возможно, на картину с маками, висящую у двери. За спинами детей отражала небо гладь реки, а за ней краснели в закатных лучах купола монастыря — и на их фоне опускалась строгим прямоугольником виньетка с названием:

#### ДЕТЯМ.

И, мельче, автор — Иван Шмелев.

Я схватил книгу покрепче, пропрыгал обратно и объявил:

— Будем читать!

На лице Акки мелькнула опаска — девочка боялась скучищи, но из вежливости возражать не стала.

— Идите, идите, не успеваю ничего, — торопила жена.

И мы пошли. Мы спустились вниз, вышли в сверкающий солнцем и снегом двор, пересекли его в противоположную от тополей сторону, обошли дом и оказались у ограды местного стадиона, в которой кто-то заботливо выпилил широкий, на манер дверного, проем.

Аккуратное перетягивание коляски через невыпиленный порожек — и вот мы уже движемся по широкому, точно гигантское белоснежное блюдо, стадиону, одним своим концом упирающимся в стены гимназии, а другим — дальним — в бледный песок пляжа, за которым начинается река.

Шмелева я в свое время полюбил, что называется, с первой строки — хотя и произошло это относительно поздно: года в двадцать четыре. Долго я поглядывал на его книги в магазинах, рассматривал острый, похожий на месяц профиль, а потом как-то раз — и решился. Купил и прочел роман, за ним рассказы, потом еще роман, а потом вот — не так-то часто у нас Шмелева издают — разжился сборником «ДЕТЯМ» просто потому, что стал скупать все, что находил у полюбившегося писателя.

Большая часть сборника мне была знакома: «Моего Марса», «Мэри», «Полочку» я прослушал, катаясь из офиса в налоговую и обратно, еще прошлым летом, и я знал, что это прекрасные, глубокие тексты, способные тронуть и заставить задуматься. А потому и решил начать с них — провести Акку по тем дорожкам, по которым уже однажды прошел сам и от которых знал, чего ждать.

Акка взяла управление коляской на себя, я подхватил из корзины — багажного отделения! — книгу, нашел нужную страницу и, поправив капюшон, воскликнул громогласно:

— Взгляните на ананас!

Акка смущенно кашлянула, обогнавший нас бегун в ярко-зеленой шапочке обернулся через плечо и выпустил в воздух облачко пара.

Ананасов на заснеженном стадионе, понятно, было не сыскать.

— Какой шишковатый и толстокожий! — продолжил я тише, растягивая слова и пытаясь поймать нужный тембр. — А под бугровой горой его прячется душистая золотистая мякоть.

Над стадионом опрокидывалось глянцевоe, точно ледяной коркой покрытое, небо — чистое, ни облачка. По нему плыл шар белого огня — солнце. Стадион сиял так, что резало глаза, больно было отводить взгляд от страницы, смотреть под ноги, оглядываться, чтобы не мешать очередному спортсмену. Людей было мало, по той стороне тихонько катились еще несколько колясок, прогуливались под руку старушки из соседнего дома, и о том, что в центре стадиона, вообще-то, находится полноценное футбольное поле, теперь напоминали только встающие друг напротив друга из снега посеребренные инеем ворота.

Слева над стадионом нависали дома — вытягивались, сверкали тысячей окон, точно наблюдали за прогуливающимися. Справа к ограде плотно жались кусты, низенькие деревца, и казалось, будто они напирают, заглядывают, норовят перевеситься и коснуться дорожки. Мы шли мимо них, и я, косясь, видел, что на голых тонких ветвях тоже мерцает иней.

— Ехал я налегке с ручным багажом, — читал я. — Марс, как и всегда, когда я собирался куда-то ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана...

С началом я угадал: не испытывая любви к книгам, Акка, как и все девочки ее возраста, любила животных. Марс пришелся ей по душе, и на лице ее нельзя было — уж насколько я пытался — угадать скуку или утомление.

Дочь сопела в голубом свете плотного, но все же не непроницаемого козырька в цветочек.

Так погожим зимним днем возник и начал свою деятельность книжный клуб «Умный гусь».

Только тогда мы еще не знали, что он так называется — и что он возник, мы тоже, по большому счету, не знали.

На особенно забавных местах Акка — она тоже, понятно, не знала еще, что ее зовут Аккой — усмехалась. Я старался читать выразительно, разыгрывал диалоги по голосам, а когда слово давалось повествователю, копировал манеру чтеца, в чьем исполнении я слушал «Марса» летом.

— Я не сказал третьему помощнику капитана, — читал я, интонацией проваливаясь в центр каждого предложения, как в яму, — что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками.

Кусты, жмущиеся к ограде, закончились, сама ограда изогнулась, и мы оказались на небольшой площадке в углу стадиона, с которой открывался вид на реку, затянутую льдом.

У самого берега лед темнел, кромка его истончалась, и видно было, что кое-где в песок плещется вода. Река была похожа на широкую белую дорогу — и странно было, что по ней не едут, моргая поворотниками, автомобили, не ходят, размахивая жезлами, автоинспекторы. Ближе к середине на ней темнели несколько кочек — это сидели, сгорбившись над лунками, рыбаки. За рекой вставал усыпанный крышами берег, и можно было разглядеть за темной вязью крон ленту проспекта, по которой ползли похожие на бусины, сверкающие на солнце машины.

На самом верху, на одном из холмов, белел невысокий, вытянутый дом с треугольной крышей. Этот дом видно было из окна кухни — и с того самого дня, как мы с женой заехали в отремонтированную к свадьбе квартиру, я все поглядывал на него — и все мне казалось, что он какой-то необыкновенный, что есть в нем какая-то тайна.

— И представь, я ведь через день в тех краях бываю, — сказал я Акке, отвлекаясь от книги и показывая на дом, — а вблизи его ни разу не видел.

Акка шурилась от солнца, ставила ладонь козырьком.

— Он как-то в глубине стоит, за магазинами, его только с этого берега видно.

Акка кивала неопределенно и, по всей видимости, ждала продолжения истории про Марса — Марс ей в одночасье стал интереснее, чем какой-то там, пусть и загадочный, дом.

«Моего Марса» мы прочли в две прогулки. Последние предложения я продекларировал мягким, насколько возможно, глубоким голосом, перешагивая через продолжительные паузы.

— Все смотрели на Марса, — пауза, — и не наблюдали за собой.

Пауза длиной в железнодорожный состав.

— Ну, — пауза, — за них это сделал, — пауза, — я.

Акка довольно покачала головой.

— Здо-орово, — протянула она.

Младший участник клуба, не просыпаясь, чмокнул соской.

Потом была «Мэри» — вещь более объемная, чтение растянулось на три, а то и четыре прогулки. «Мэри» Акку восхитила — больше собак девочки ее возраста любили, видимо, только лошадей, — но некоторые эпизоды — особенно трагические — я принял решение опустить. Потом прочли «Полочку» — но в «Полочке» не было животных, а кроме того, в центре ее стояла пока еще не совсем понятная Акке любовь к книгам — и на контрасте с предыдущими рассказами Акке она оказалась не близка. Я же, наоборот, проникся — «Полочка» на тот момент была любимым моим текстом у Шмелева. Я вспомнил, с каким тщанием собирал свою библиотечку, расставляя книги то по авторам, то по темам, то по росту, как библиотечка, поначалу занимавшая всего одну нишу в шкафу, сперва отвоевала у жениной косметики вторую, потом обзавелась несколькими филиалами по всей квартире, а потом вдруг разом переехала в огромный, пахнувший деревом стеллаж, разгородивший единственную комнату на две.

— Хочу сам! — заявлял я родителям, удивленно слушающим о том, как я книгу за книгой скупаю Достоевского и Чехова, чьи собрания сочинений строго смотрели на меня все детство. — Хочу свое!

Оно и верно, своя библиотека — это же совсем другое. Это — особенное.

Потом читали «Как я встречался с Чеховым» — бродя по ледяному, хрустящему плотным снегом Пушкинскому парку, но и встречи маленького Вани Шмелева с Чеховым не смогли потягаться с Марсом и Мэри, так впечатлившими Акку. Я ежился, тянул шапку на уши, трогал нос дочери — не замерзла ли? — и думал, что начни я с «Чехова», клуб бы ждала совсем иная судьба.

— Может, «Марса» перечитаем? — предложила Акка в ответ на мою лекцию о Чехове, как величине грандиозной и непостижимой.

Но я, пользуясь привилегиями организатора, уже знал, что «Умный гусь» будет читать дальше.

## Паустовский

С Паустовским у меня история вышла сложная. Это был один из тех авторов, которые, что называется, всегда на слуху, но мимо которых каким-то непостижимым образом проходишь раз за разом. Я с детства помнил, что Паустовский — это про

природу, а если про природу, то обязательно — «скучища», и долгие годы пребывал в совершенном неведении относительно золотого линя, заячьих лап и сивого мерина. Пока вдруг не прослушал о них так же, как и о Марсе с Мэри: катаясь бусиной по проспекту на том берегу, прислушиваясь к порывающему двигателю и перебирая свободной рукой документы, которые надо сдавать в антимонопольную службу.

Тут-то я и понял, каким олухом был и от какого сокровища преступно воротил нос.

Если бы только кто-нибудь сказал мне в двенадцать лет, как Акке:

— Это совсем не скучно. Тебе стопудово понравится.

Я повертел книгой, точно стряхивая с нее Аккин скепсис. Ворона на обложке закувыркалась вместе с зеркалом и букетом, возле которых стояла, но украденную брошь из клюва не выпустила.

Над вороной нависал прямоугольник — такой же, как и над детьми в дореволюционной одежде, — только написано на нем теперь было:

### ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ.

И выше: «К. Паустовский».

В сборнике, конечно, были не только «Заячьи лапы» — сборник условно делился на два фланга: в левом расположились рассказы, а в правом — сказки. С рассказами я уже был знаком — и мне не терпелось своим знакомством поделиться — сказки же для меня самого представляли, как говорят у нас, юрисконсультов, *terra incognita*.

Читать начали слева направо.

Читали, гуляя по скверу, носившему имя «Пролетарский»: дальним углом он смотрел на заводские ворота, из которых в начале шестого высыпали и спешили к остановкам рабочие. В какую-нибудь минуту они заполняли весь сквер, и «Умному гусю» приходилось лавировать и жаться к скамейкам, выхватывая из общего гомона обрывки разговоров.

Весна пришла рано, по утрам — я видел, проезжая мимо, в офис — по утрам в сквере клубился туман, потом как бы нехотя на бледное небо выкатывалось солнце и сыпало на голые кроны полупрозрачный, прохладный, казалось, свет, а потом при первой возможности пряталось за облака.

На газонах лежал корками сухой, посеревший снег, по нему топтались галки и грачи, на ветвях уже темнели копытцами почки.

Пахло в сквере сыростью и — горько — корой.

— Мы не знали, как поймать этого рыжего кота, — читал я, поглядывая на низкое, серое небо. — Он обворовывал нас каждую ночь.

Акка слушала с интересом, дочь спала. Мы гуляли вечерами, встречая рабочих и провозжая их к остановкам, топтались у сырых ледяных скамеек, мерили шагами дорожки под каштановыми кронами. Акка уже прониклась историями о лине, о зайце, о собаке, невзлюбившей надувную лодку, — Паустовскому удалось завоевать ее доверие. Рассказы были небольшие, читались и воспринимались на слух легко, а тут еще настраивали на нужный лад сонная тишина сквера — если только не было рабочих — грачи и галки, ворошащие прошлогоднюю листву, серые, в редкой позолоте, облака над дрожащими ветвями.

Паустовскому даже удалось потеснить Шмелева.

— Ну, — спрашивал я победно после каждого рассказа, — не скучно?

Акка мотала головой.

— То-то же, — назидательно кивал я, прочищал горло и продолжал читать.

В книге попадались иллюстрации — и они тоже оказались созвучны общему настроению: черно-белые, штрихами, острыми, резкими силуэтами они подходили сумрачному, без листвы, скверу.

И если со стадиона мы наблюдали за домом на противоположном берегу реки, то из сквера мы смотрели на исполинскую заводскую трубу. Мы выходили к краю, к последним деревьям, и видели, как она вырастает вдали из-за стены — высоченная, выкрашенная полосками в белый и бледно-розовый, похожая на маяк.

Из-за цвета казалось, что она вырезана из картона — или нарисована прямо на сером небе.

— Можно представить, — говорил я, отвлекаясь от книги, — что это не труба, а маяк. Акка задумывалась, пожимала плечами — и правда.

— Получится, — продолжал я, — что за стеной не завод...

Я делал загадочную паузу.

— А океан!

И мне самому нравилось смотреть на бело-розовую — полосками! — трубу и представлять, что вокруг нее не звенящие механизмами цеха, а волны, бьющие в каменистый обрыв, соленая пена и белоснежные чайки, скользящие над самой водой.

Подойдет парходик — да хоть бы и тот, на котором плавал с хозяином Марс, — сойдут на берег рабочие. Прошагают по влажной от брызг дороге до ворот — и в сквер, к остановкам.

Особенно Акке понравился «Барсучий нос» — она искренне сокрушалась о неосмотрительности барсука и качала головой, не переставая все же улыбаться.

— Шкатулку принесли в комнаты, — читал я в «Жильцах старого дома», — осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку... Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

— Как здорово, — вздохнула Акка.

И я, конечно, с ней согласился — мало на свете вещей притягательнее музыкальных шкатулок, и жаль, что сейчас их не так просто встретить.

И таким восторженным образом мы прочли все рассказы, что были в книге, за несколько вечерних прогулок.

— Веди читательский дневник, — советовал я Акке.

Она хмыкала неопределенно — возможно, не вызывало доверия словосочетание, в котором фигурировал дневник.

Тем временем весна, набравшая, казалось, обороты, вдруг потускнела, растеряла с трудом накопленное тепло — и по скверу загулял колючий, зябкий ветер. То и дело сыпалась из облаков мелкая неприятная морось.

Бывал даже град — крупной он цокал по скамейке, скакал по дорожкам, отпрыгивал от первой, совсем робкой листвы и падал в темный газон.

А мы, закончив с левым флангом, взялись за правый, в котором, как я уже говорил, расположились сказки.

Сказки на меня, признаться, не произвели должного впечатления — и кое-что я дочитывал без прежнего энтузиазма, вздыхая о лине и мерине. Но Акке они понравились едва ли не больше, чем рассказы, и я удивился этому и даже обрадовался, мне подумалось, что, значит, жива еще в ней жажда сказки, совсем детская, открытая. Я обрадовался — и стал читать стараясь, вдохновенно.

— Выше омота на крутом берегу, — читал я, поправляя козырек коляски так, чтобы в нее не задувал ветер, — островами разросся кипрей.

Акка слушала внимательно, ежилась и шмыгала носом.

Греться мы ходили в ближайшую кофейню — маленькую, уютную, но расположенную как-то некстати, в закоулке, из-за чего посетителей у нее было раз-два и обчелся.

Нас уже знали, и всякий раз, как мы, придерживая дверь, втаскивали коляску внутрь, хозяйка снимала со стойки пульт и делала тише поющий под потолком телевизор. Мы занимали один из столиков, садились, осторожно раскутывали спящую дочь, что-

бы ей не было жарко, и Акка бежала заказывать кофе. Читать в кофейне, конечно, было неловко — и мы просто сидели над пузатыми чашками, грелись и смотрели в окно, за которым сновали взад-вперед по узкой, ухабистой дороге автомобили, спешили, подняв воротники и держа наготове зонты, редкие пешеходы и качала редкими прядями коряжистая ива.

Время от времени в кофейню кто-нибудь да заходил, и за стойкой начинала гудеть машина. Под сияющими витринами толпились пирожные, на каждом столике стояли, выпятив грудь, блокноты для отзывов и пожеланий, густо и сладко пахло кофе, и со стен смотрели широкими мазками написанные пейзажи: городские, Лондон и Париж.

Я долго думал, что бы такого особенного написать в блокнотик, оставил несколько теплых отзывов, а потом наконец однажды — в особенно ветреный, неудобный вечер — записал в него цитату, наугад выбранную из Паустовского:

«На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга».

Мне это показалось очень удачным, и я перелистал блокнотик на несколько страниц назад, чтобы цитата не бросалась в глаза, а как бы пряталась внутри.

Допив кофе и согревшись, мы закутывали дочь, благодарили хозяйку и вываливались в свистящую ветром улицу.

Дочитав последнюю сказку, я торжественно закрыл книгу, посмотрел на Акку и спросил с видом победителя:

— Ну-у? Не скучно?

— Нет, — замотала головой Акка.

И мы заспешили к дому — снова замелькала на фоне ветвей бледная морось.

### Чехов

Чехова мы читали, прохаживаясь мимо башен-тополей. За тополями мелькали автомобили, моргали разноцветными глазами светофоры, толпились на остановках люди.

Вечером автомобилей было меньше — и можно было гулять без какого-либо дискомфорта.

Этот сборник Чехова — любимого моего Чехова — подарил мне друг, и подарил, собственно говоря, не мне, а дочери — в довесок к мягкой игрушке — со словами:

— Вот подрастешь, и будет тебе папка читать.

Дочь ответила по-младенчески внимательным взглядом, потянула ручки к игрушке, сборник я принял с благодарностью и поставил на полку.

И вот теперь читал: не только дочери, сквозь младенческие сны, вероятно, слышавшей мой голос над собой, но и Акке.

Сборник представлял из себя тоненькую книжечку в твердом переплете. На обложке красовалась сидящая почему-то рядом с керосиновой лампой Каштанка. В сборнике было не больше шести-семи рассказов, и я, приступая к чтению, понимал, что здорово рискую, потому что знал: Чехов не писал для детей. Единственный написанный Чеховым для детей рассказ — «Белолобый» — в сборнике присутствовал, но почему-то плелся в самом хвосте.

Погода постепенно выправлялась, май набирал обороты — все вокруг нежно зеленело, у бордюров рассыпались солнышками одуванчики. Мы выходили после шести и заставляли сладкое вечернее тепло, по небу металась точками птицы, тянулись вереницами грузные облака, и понемногу сползающее к закату солнце заливало их оранжевыми и золотыми лучами. Гулять было приятно, народу на улицы высыпало — не протолкнуться, во дворах, визжа, носились дети, с блаженными улыбками прохаживались, положив ладони на животы, будущие мамы.

— Чехов! — многозначительно объявил я и показал Акке портрет на первой странице. Акка замялась.

— Че-хов! — проговорил я еще многозначительнее, по слогам.

Акка пожала плечами.

Но я не угадал. С Чеховым я явно поторопился — из моей к нему горячей любви.

«Ваньку» пришлось объяснять — но ведь у нас и взрослые далеко не все понимают трагизм ушедшего в народ «На деревню дедушке», я и сам не сразу это понял когда-то. «Детвора» показалась забавной, но не будешь же читать двенадцатилетней девочке лекцию о том, что в крошку рассказ Антон Павлович умудрился вложить чуть ли не академическую классификацию азартных игроков. «Налим» не впечатлил совершенно — а мне к тому же пришлось умолчать о том, что старик Ефим — одноглазый.

Акка откровенно скучала — но и скучать в теплые майские вечера оказалось не так уж неприятно. Мы шли из одного конца улицы в другой, потом обратно, потом повторяли маршрут, Акка запрокидывала голову, глядела на верхушки тополей, на то, как рябит под ветром мелкая серо-зеленая листва. По траве между тополями гуляли на поводках собаки, за ними спешили хозяева, пахло дымом: где-то далеко, на той стороне улицы, жгли костры.

Из тесного, прижавшегося к одному из домов кабачка вываливались красные за-сегдатаи, стояли, опершись на перильца крошечной террасы, и тоже смотрели на тополя, на небо и выглядели счастливыми.

Свою порцию оаций сорвали «Мальчики» — на Монтигомо я и делал ставку, берясь за сборник. Но снова — акварельная, штрихами, композиция, то чувство незавершенности, обрывочности, которое так ценится читателями в зрелом возрасте, в уме Акки оставило — при всей увлекательности истории — лишь недоумение, и как я ни пытался объяснить — в меру своего понимания, — в чем прелесть рассказов «без начала и конца» и случайных, казалось бы, фраз и действий, интереса это не прибавляло.

Зато за Каштанку Акка болела всей душой — и сокрушалась, узнав, что в итоге собачка, похожая на лису, оставляет циркового артиста, Хавронью Ивановну и Федора Тимофеича ради Федюшки и его отца-столяра. Она не могла простить Федюшке его забавы с куском мяса на веревочке.

— Что это такое? — возмущалась она. — Зачем она к ним вернулась!

— Такова жизнь, — разводил руками я.

— Глупость какая-то! — горячилась Акка.

Я не находил, что сказать — не приводить же ей теории, согласно которым Каштанка, она же Тетка, суть не просто какая-то конкретная собачка, а образ покорной, верной своему прошлому, каким бы оно ни было, женщины.

— Мне не нравится Чехов, — хмуро подводила итог Акка.

На это я смеялся:

— Понравится, потом понравится, будь уверена!

Акка смотрела недоверчиво.

— Чехов — это... — я подыскивал слова. — Это...

Но найти подходящих слов не мог — сказал бы «гора», «планета», но что бы это ей объяснило?

— Облака похожи на улиток, — сказала Акка задумчиво, запрокинув голову и чуть помолчал.

Я удивленно посмотрел наверх — облака медленно плыли над тополями, огромные, плотные, вздымающиеся холмами. Снизу же они были точно ножом срезаны — и мягко светились оранжевым. Получалось, что действительно — ползут по стеклу улитки с раковинами и плоскими животами. Я обернулся — до самого горизонта тянулись вереницы гигантских улиток, и у всех раковины были сине-сиреневые, а животы — оранжевые.

Вдалеке песчинками парили в небе первые звезды.

— Это ты здорово придумала, — искренне восхитился я. — Про улиток.

Акка пожала плечами.

Последним читали «Белолобого» — и он, конечно, приковывал внимание, но у него, как и у Каштанки, и у всех представителей вида собачьих, появившихся в нашем клубе, был сильный соперник в виде шмелевского Марса, за каждым из них маячила его тень, и в восприятии Акки все они, кажется, на фоне этой тени меркли.

— Не хочу обратно! — сопротивлялся товарищам краснолицый, сильно нетрезвый завсегдатай кабачка. — Хочу здесь быть!

Он обеими руками хватался за перильце террасы, а товарищи пытались его от перильца отодрать и тащили внутрь, в распахнутую — там гудела музыка, слышались голоса — дверь.

— А утром он подозвал к себе Белолобого, — читал я, косясь на кабачок, подтягивая к себе коляску и забирая крепко в сторону, — больно оттрепал его за уши и потом, называя его хворостиной, все приговаривал...

Акка хмурилась — ей было жаль Белолобого.

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь! — я понизил тон, чтобы у кабачка не услышали и не решили, что я обращаюсь к ним.

— Нет, — решительно повторила Акка. — Не нравится мне Чехов.

— Понра-авится, — заверил я ее, оглядываясь на кабачок.

Я перелистал сборник — две прогулки! — и всмотрелся в портрет на первой странице. На меня глядел с прищуром строгий старичок в пенсне. Я опять показал Акке портрет и хотел рассказать, что Чехов — совсем не такой, что в молодости он, например, был о-го-го, богатырь, косая сажень в плечах, что человек он был невероятно веселый, добрый, что я сам удивился, узнав, что старичок со школьного портрета был настолько живым, настолько ярким и поразительно энергичным человеком, что он написал тонну юморесок, от которых сводит живот, а за пределами юморесок расстилается бескрайняя степь глубочайших, пронизательнейших — не говоря уже о том, что обладающих беспримерными художественными достоинствами — текстов, которые читательскому сообществу еще изучать и изучать... Все это я хотел сказать Акке, но она уже снова смотрела на облака и, кажется, прикидывала, на что они похожи теперь.

«Поймет, — подумал я, пряча книжечку в багажник, — обязательно поймет. Всему свое время».

Я заглянул в коляску, потрогал ворот курточки, проверяя, не жарко ли хозяйке сборника. Хозяйка нахмурилась во сне, задвигала соской.

— Вон то облако, — показала Акка, — похоже на карету.

Я проследил за ее взглядом и увидел облако, похожее на кресло с короткими ножками и широкой спинкой.

— Скорее на кресло, — неуверенно протянул я.

Акка присмотрелась и покачала головой.

Сколько я ни старался, карету я так и не увидел — кресло медленно, точно на колесах, проехалось до ближайшей высотки и скрылось за ней.

### **Зощенко**

Зощенко мы с Аккой выбрали коллегиально — долго ходили по книжному, примерялись, снимали с полок то одну книгу, то другую, читали аннотации, прикидывали объем и формат, ставили обратно.

Младший член клуба в это время под руководством мамы разживался летней курточкой в соседнем отделе.

В итоге мы выбирали между Сашей Черным и Зошенко — и наконец остановились на Зошенко. Я его знал по очаровательным взрослым текстам — их очарованию не мешал явный налет того, что на Западе принято называть кафкеском, — а Акка откуда-то помнила Лелю и Миньку, которым в сборнике посвящался целый раздел.

Леля и Минька же были изображены на обложке — с испуганным видом сидели они на краю телеги, свесив ноги. Оба они были одеты в бело-голубые — точно морские — костюмчики и сидели тесно, потому что ноги с края телеги свешивал еще один юный гражданин — краснощекий мальчуган в комбинезоне и огромном, больше головы, картузе. Возможно, под тяжестью картуза мальчуган клонил голову набок и так же, как будто испуганно, смотрел мимо зрителя — не то на стеллаж «Психология», не то вдаль.

Трясаясь в телеге, преступно не смотреть вдаль.

Телегу тащила сутулая лошаденка, ее погонял усатый старик в рубахе в горошек.

Книга была небольшая, но свой объем использовала по максимуму — под обложкой прятался целый ворох небольших рассказов, из которых я прежде не читал, кажется, ни одного.

И первый же — настал тот волнительный момент — дал имя нашему, до той поры безымянному, клубу.

Мы сидели в кухне, прогулка сорвалась из-за хлынувшего внезапно дождя, цедили чай, зажевывая его кренделями, и читали Зошенко. Дочь смотрела из крошечных, позвякивающих при движении качелек, жена перебирала холодильник.

— Нашему клубу, — обратился я к Акке, дочитав рассказ о сравнительно умной кошке и допив чай, — нужно название.

Акка задумалась.

— Давай, — предложил я, — возьмем какой-нибудь из рассказов — и по нему и назовем. Тебе какой рассказ понравился?

— У Зошенко?

— Да.

— Все!

Первый блок — «Умные животные» — не понравиться не мог.

Я кивнул, открыл оглавление и поехал по нему пальцем снизу вверх.

— Сравнительно умная кошка? — спрашивал я.

И сам отвечал:

— Длинно.

— Умная собака? — спрашивал я, выдерживая паузу. — Неблагозвучно.

— Умная птичка? Слишком по-детски.

Акка соглашалась.

— Очень умная лошадь. Длинно и неблагозвучно.

По подоконнику барабанил дождь, сквозь тюль темнело небо. Перебираемый холодильник раз в две минуты поднимал писк, его приходилось закрывать и открывать снова.

«Глупый вор и умный поросенок» я и предлагать не стал — а то решат еще, что это мы с Аккой по ролям распределились.

Оставались «Умная кура» и «Умный гусь».

— «Умная кура» или «Умный гусь»? — спросил я Акку, убрав палец с оглавления.

Двух мнений быть не могло — и вот так, дождливым майским — почти уже июньским — вечером, под писк холодильника и позвякивание качелек, книжный клуб из трех участников получил свое имя.

Имя, согласен, оказалось несколько неуклюжее, комичное, совсем невозвышенное — и взрослый клуб так бы, вероятно, не назвали, — но нам, раззадоренным короткими, легкими, как перышки, рассказами, их колючим и в то же время изящным

юмором, название показалось очень удачным и отражающим какие-то глубинные настроения коллектива.

К слову, о коллективе. Именно во время чтения Зощенко «Умный гусь» чуть не вошел в режим квартета: жарким июньским — почти еще майским — днем к нашей прогулке присоединился двоюродный брат Акки — вихрастый молчаливый мальчик, тех же двенадцати лет от роду.

Маршрут прогулки был проложен через дворы к стадиону — но в проем в заборе мы не лезли, а обигали стадион по периметру с тем, чтобы выйти к пляжу, который с первого дня лета был битком набит отдыхающими.

— И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, — читал я, пока мы шли дворами, — у меня прямо начиналось головокружение.

Акка направляла коляску, я шел за ней, а за нами семенил, сунув руки в карманы, ее, Акки, брат — он то слушал внимательно, то вдруг отвлекался, засматривался на играющих во дворе мальчишек, и тогда на лице его проявлялось сложное выражение — наверное, и ему хотелось в этот момент сорваться и присоединиться к игре, но воспитание не позволяло: коль вышел на прогулку с родней, изволь гулять.

Дворы распахнулись, и мы двинулись вдоль ограды. По стадиону бежали один за другим блестящие на солнце спортсмены, между ними лавировали, не расцепляя рук, старушки. Растянувшись в длинную цепь, катились разноцветные коляски.

— А мою старшую сестренку Лелю бабушка не очень любила, — читал я. — И не позволяла ей выбирать пирожные.

Акке Зощенко нравился — и правда, по сравнению с Чеховым, Шмелевым, даже с Паустовским, рассказы его были совсем легкие, не уплывающие в описания, прелесть которых начинаешь понимать только с возрастом. Опять же — юмор.

Ограда кончилась, и мы спустились к пляжу.

Широко расстилалась сверкающая рябью река, над ней кружили, вскрикивая, чайки. Противоположный берег казался отлитым из золота — жаркий июньский день постепенно превращался в жаркий июньский вечер. Пляж был усыпан пледами и полотенцами — и почти на каждом кто-нибудь сидел или лежал, подставив солнцу живот. У воды толкались дети, бросали хлеб спящим чуть в отдалении, у кустов, уткам. Плавали, фыркая, всего несколько человек: дни выдались жаркими, но вода еще была, по-видимому, холодной.

На краю пляжа, там, где сменившая асфальт трава отступает перед песком, мы разулись и, держа сандалии в руках, двинулись к воде, не переставая читать.

— Мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, — сокрушался я, — то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы.

Акка неодобрительно качала головой, ее брат шел, задумавшись, загребал босыми ногами песок.

Видно, он сильно о чем-то задумался, потому что чуть не наступил на руку лежащей на боку тетушке — в последний момент он дернулся, отпрыгнул, песок из-под его ноги взвился облачком и окатил тетушкино плечо.

— Смотреть надо! — крикнула тетушка, отряхиваясь и переворачиваясь на другой бок.

Брат Акки пробормотал извинения, я тоже извинился — от имени руководства.

«Вот, — думал я, — сейчас нас четверо. А там глядишь — и больше будет. Может, десять, может — двадцать. „Умного гуся“ на всех хватит».

И от этих мыслей мне было весело — я уже говорил, что любил совместные чтения, и то, что клуб набирает обороты, не могло меня не радовать. Я представил, как мы набиваемся в нашу кухню — или садимся где-нибудь на воздухе, да хоть бы и вот, на пляже — и читаем книгу за книгой, а потом делимся впечатлениями — и я вворачиваю

что-нибудь литературоведческое, про метатекст или про преемственность нарративных традиций, и благодарные слушатели кивают уважительно головами, заносят пометки в крошечные блокнотики и составляют списки для самостоятельного чтения: Достоевский, Казаков, Коваль...

Коляска вязла в песке, приходилось наседать — но ближе к воде песок стал плотнее, и она снова покатила легко.

— Бросали бы сразу буханками, — вздохнула Акка.

Дети кидали к кустам увесистые хлебные ломти, и уткам приходилось от них уворачиваться.

В одном месте мы остановились и подошли к самой воде, оставляя на прохладном, сыром песке глубокие следы. И коляску подкатили — за ней по песку тянулись, переплетаясь, тонкие полосы. Я присел на корточки, зачерпнул ладонью — вода оказалась страшно холодной. Брат Акки подтянул джинсы, погрузил одну ногу по щиколотку — по дну заметались мальки — и тут же отдернул.

— Ледяная!

Акка покачала головой.

От реки густо пахло мокрой древесной корой, водорослями — хотя какие тут, у берега, водоросли? — и чем-то далеким, почти забытым, из детства, от чего в груди сладко ныло.

По итогам прогулки брат Акки сообщил, что ему все понравилось, но на приглашение к следующему заседанию замаялся, забормотал — и больше с нами не ходил. Временами мы встречали его — читая того же Зоценко — во дворах, и он, смущаясь, здоровался, спрашивал, что почем, а потом с виноватым видом возвращался к прерванной игре. Я сперва расстраивался, но потом понял, что зови меня кто в двенадцать лет читать книжки вместо казаков-разбойников, я бы вообще пришел в ужас.

Дочитывали Зоценко мы в Пушкинском парке — и теперь он был изумрудно зеленым, душным, точно теплица, в нем горько пахло дубовой листвой, и между ветвей сновали, заливаясь, чирикавая на разные голоса, птицы. Мы проходили парк насквозь, потом делали привал на скамейке — напротив каменного Пушкина, решительно отбрасывающего полу каменного плаща, — и читали, поглядывая на круглое, точно лобзиком выпиленное дупло, из которого время от времени показывалась черная головка скворца.

Самым последним блоком в книге шли рассказы о войне — и тут уже было не до юмора. Тревожно было видеть, как в прозрачную реальность по-прежнему легких — по форме — текстов врывается что-то огромное и страшное.

Начинали мы книгу в приподнятом, веселом настроении — а закончили подавленные, в каких-то своих раздумьях.

Я, например, вспоминал рассказы бабушки об эвакуации — о том, как ее совсем маленькой увезли в Красноярск, и она жила в нем до конца войны. О чем думала Акка, я не знаю — не знаю, о чем может думать в такой ситуации девочка двенадцати лет.

А спрашивать я не стал.

— Что дальше будем читать? — спросила она, когда мы возвращались домой.

Я не знал — еще не решил. Но время определиться у меня было: Акка уезжала на море с мамой, и на две недели деятельность книжного клуба ставилась на паузу.

## Лагерлёф

Пока Акка, вооружившись маской и ластами, изучала подводный мир крымских пляжей, я все гадал: какую книгу включать в повестку клуба? И решение, как это часто бывает, пришло само собой.

Мы с дочкой стали чаще кататься в гости к моей бабушке, и там, под скрип половиц и ароматы пирогов, я имел возможность долго изучать книжные полки, в тени которых провел львиную долю собственного детства. С давно позабытым трепетом я снимал одну за другой энциклопедии — динозавры, космические корабли, просто корабли, мифические животные, просто животные, самолеты, географические открытия, чудеса света — и собрания сказок, полные таких жутких иллюстраций, что у меня, взрослого, волосы на затылке шевелились — как я избежал заикания? Были тут и традиционные для любой детской библиотеки истории про Незнайку, про Простоквашино, про Урфина Джюса, Мишкину кашу и Сдобную Лизу. Много тут оказалось книг, которые я в детстве прочел не по одному разу. Но были и самые любимые — настольные, сердечные.

Сердешных было три: повести о Карлсоне, «Старик Хоттабыч» и «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф — пусть и в виде художественного пересказа.

Как бы высоко ни взмывали в моем восприятии Незнайка и Изумрудный город, эта троица подпирала облака, и даже более того — пронзала облака, открываясь незамутненной сияющей равнине, которую иногда везет видеть в иллюминатор самолета — на манер фантастических башен.

Я садился в кресло, закидывал ноги на катающийся по комнате гимнастический шар и листал, листал, листал — и вспоминал, как сидел в этом же кресле мальчишкой, скрючившись, стянувшись в узел, вцепившись в одну из трех заветных книг так, словно у меня ее отбирали. И не только сидел — я читал лежа, стоя, за столом, царапая ложкой дно опустевшей тарелки, читал во дворе и на крыльце, под светом настенной лампы и у открытого настежь окна, в которое тянула лапы сирень.

«Карлсона» я зачитал до полупрозрачных страниц — если бы я только мог вспомнить, сколько раз я начинал его, едва закончив, я бы, вероятно, себе не поверил. «Карлсон» был вне конкуренции даже рядом с Хоттабычем и Нильсом. Я двигал мебель в комнате, сверяясь с планировкой домика на крыше — заботливо приведенной в книге. Я обвешивал стены репродукциями «Очень одинокого петуха» и портрета бедных кроликов — и даже нарисовал за мужчину в расцвете сил «Портрет маленькой упрямой овцы, которая не хочет прыгать», на которую у него все не хватало времени.

Наверняка что-то из тогдашних моих рисунков сохранилось — надо только лучше поискать в ящиках...

— Что ты все одно и то же читаешь? — смеясь, спрашивали родители.

А я и не знал, что ответить, но читать не переставал.

Определенно, «Умному гусю» — а может быть, лично мне — требовалось что-то эдакое.

И я стал думать — но думал недолго, потому что все, как говорится, лежало на поверхности. «Карлсон» чудесен, но очень уж объемен — да и к тому же всегда казался мне преимущественно мальчишеской книгой с мальчишеской философией и мальчишеским подходом к бытию. «Хоттабыч» удивителен — но это я хоть пяточкой, а касаясь ушедшей эпохи галстуков и «Хинди руси — пхай пхай», а для Акки это суть мир совершенно незнакомый и, стало быть, с высокой степенью вероятности — непонятный.

Оставался «Нильс» — который к тому же был скромнее остальных по количеству страниц.

На нем я и остановился.

И не прогадал!

«Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» было оформлено — и в этом плане мне в детстве несказанно повезло — в книгу высочайшего качества, с невероятными

иллюстрациями, которые одни можно было разглядывать часами. Какой тут был Мартин! А какой Смирре! А какая Акка!..

Внимательный читатель уже понял, из какой книги мой компаньон по клубу — в этот момент собирающий на пляже ракушки — получит свое секретное клубное имя.

Когда Акка прилетела с юга — темно-коричневая, как негритенок, с выгоревшими на солнце волосами, — когда мы впервые после перерыва выбрались на прогулку-заседание, я торжественно достал из багажника пусть и хорошо сохранившуюся, но все же потрепанную жизнью, с обтесавшейся по углам обложкой, книгу и поднял ее над головой как драгоценный кубок.

Акка присмотрелась, прочла название, фамилию автора и нерешительно склонила голову.

Но никакая нерешительность не могла поколебать меня — мы еще не добрались до Пролетарского сквера, а я уже голосил, пугая прохожих и рискуя разбудить дочь:

— В маленькой шведской деревушке Вестменхёг жил мальчик по имени Нильс!

Стоял июль — и лето ожидаемо плавало город, обрушивая на него водопады горячих лучей. Над автомобильными крышами дрожал раскаленный воздух, перила и дверные ручки рисковали обжечь ладонь, а в Пролетарском сквере наконец-то, точно сам по себе, одурев от жары, заработал год простоявший без дела фонтан — и в вихрях брызг то тут, то там разворачивались радуги.

Сквер наполнился детьми и отдыхающими, все жались к фонтану и ликовали всякий раз, как до них долетала подхваченная ветерком водная пыль. Стоял шум, плеск, из громкоговорителя над остановкой шипело радио, но стоило уйти в глубь сквера — и на вас опускалась горячая, плотная тишина, словно звуки тоже таяли от жары.

А вечером сквозь широкую каштановую листву переливалось от сиреневого к золотому небо, по нему тянулись лиловые и розовые — ни дать ни взять сладкая вата! — облака, и куполок Никольского храма через дорогу горел спустившейся на землю звездой.

— Прежде чем Нильс понял, что произошло, — читал я, — они были уже высоко в небе.

Нильс Акку очаровал — как очаровал он и настоящую Акку, в книге — пестрое, полное опасностей и встреч путешествие не могло не произвести эффекта: Нильса мы читали весь июль, и на весь июль погрузились в волнительное ощущение далекой, но как будто вдруг приблизившейся и втиснувшейся под своды Пролетарского сквера сказки.

И весь июль стояла прекрасная погода — то есть прекрасной она была для тех, кому выпадало счастье гулять и есть мороженое, а днем я, конечно, вместе с остальными изнывал от жары, стоя в пробках или сидя в душном офисе лицом к лицу со старательным, но все же бесполезным вентилятором.

Гуляли мы в основном по вечерам — но в выходные выбирались и в самый солнцепек.

О горе Кулаберг мы, например, читали, сидя на скамейке напротив фонтана, что, кроме шума воды, впрочем, ничего не давало, так как скамейка находилась на приличном от фонтана расстоянии, в знойный, вязкий полдень. Небо над сквером точно высохло, обнажив бледно-голубое дно, об облаках не было и речи — и даже птицы попрятались в гнезда. По скверу устало ходили отдыхающие, далекая башня над заводской стеной — ее можно было разглядеть обернувшись и прищурившись — покачивалась в мутной дымке, точно была готова в любой момент раствориться.

— Крутые склоны горного хребта Кулаберг поднимаются прямо из моря, — читал я, обтирая пот со лба, наклонив книгу так, чтобы белизна страниц не резала глаза. — У подножия Кулаберга нет ни полоски земли или песка, которая защищала бы его от яростных волн.

Лучше всех было младшему из путешественников — под козырьком прогулочной коляски, в голубоватом прохладном свете, он спал в шортиках и маечке.

— Ветер! — перебивала меня Акка.

Я отрывался от книги и смотрел на кроны дальних деревьев — сквер обнимал фонтан и скамейки ровным полукругом — верхушки старых берез, прежде неподвижные, вдруг приходили в движение, клонились вбок. Затем рябь перекидывалась на густые кроны каштанов, толстые ветви принимались раскачиваться, деревья просыпались по одному, точно толкали друг друга в бок, к нам приближался упругий шелест, делался громче — и наконец порыв прохладного, пахнущего песком ветра долетал до скамейки, обдавал своим дыханием подставленные ему лица — мое и Акки, шевелил волосы, загибал уголок страницы и спешил дальше, завершая полукруг. Мы смотрели ему вслед — кроны по одной вздрагивали, колыхались, а потом так же по одной застывали, точно никакого ветра и не было — и ощущали, как сквер окутывает прежний зной.

Акка заступала на караул за березовыми кронами, я возвращался к чтению.

— А больше всего не терпелось Нильсу, ведь он был первый и единственный человек, которому выпала честь увидеть игрища зверей и птиц...

— Ветер!

И мы снова подставляли ветру лица, а потом снова провожали его тоскливыми взглядами.

Казалось, что в полукруг сквера, как в морской залив, заплывают один за другим невидимые киты — приминают боками листву, касаются краешком плавника сидящих на скамейках, а потом выплывают и продолжают свое путешествие. Я поделился наблюдением с Аккой и поспешил пояснить:

— Это не я придумал, это Брэдбери. «Вино из одуванчиков».

Но Акка про Брэдбери еще даже не слышала.

— Из одуванчиков делают вино? — удивлялась она и тут же восклицала: — Ветер!

А почему и при каких обстоятельствах я решил вдруг назвать Акку — нашу Акку — Аккой, по имени предводительницы гусиной стаи, я и не могу сказать точно: скорее всего, я в шутку окликнул ее так, прося что-нибудь передать, или не тряссти коляску по кочкам, или ткнуть в кнопку светофора, чтобы он переключил свое внимание с автомобилистов на пешеходов, но обращение вдруг получилось таким удачным, что стало понятно — кому-то посчастливилось занять специальное клубное имя, которое, как известно, представляет из себя нечто среднее между метким прозвищем, карнавальным костюмом и прописанной в уставе должностью.

Сама Акка была только рада — мало того, что ей за время чтения успел полюбить-ся персонаж, так еще и полное имя храброй гусыни — Акка Кнебекайзе — звучало словно волшебное заклинание.

Так Акка стала Аккой.

## Луни

Едва мы вместе с Нильсом Хольгерсоном завершили его «чудесное путешествие», едва сам Нильс вернулся к прежним габаритам — и к родителям, а маленький Юкси навсегда остался размером со спичечный коробок, выяснилось, что, на зависть всем, наша Акка едет на море второй раз за лето — с бабушкой и дедушкой.

До отъезда оставалась неделя, и братья за что-то крупное — а ко мне уже бандеролью спешила через города и веси первая история из цикла о Нарнии — не было смысла. Я помчался к бабушке и стянул с полки «Сдобную Лизу» Виктора Лунина.

Почему-то показалось, что Акке она придется по душе.

Сам я «Сдобную Лизу» помнил смутно — но помнил, что в детстве она мне самому была по душе. Отчасти — из-за красочных, во всю страницу, иллюстраций и из-за приведенных в конце книги рецептов по приготовлению сдобных котов — были там также их сдобные хозяева и даже сдобная собака с глазами-изюминками. И обложка была, что называется, броская: из-за горы ватрушек и пирогов выглядывала, сверкая глазами, огненно-рыжая, в полоску, кошка — сама, приятно познакомиться, Сдобная Лиза.

И Акке книга действительно пришлась по душе — да так, что она прерывала чтение, просила «Лизу» в руки и разглядывала иллюстрации. В какой-то момент я даже предложил ей поменяться ролями: она читает, а я направляю коляску — и она даже согласилась, попробовала и тихо прочла две или три страницы. Но всякий раз, когда мы равнялись с очередным пешеходом, она робела, останавливалась, кашляла смущенно — и не продолжала, пока пешеход не исчезал за горизонтом. Я решил, что так мы «Сдобную Лизу» не прочтем и до третьей поездки на море — до следующего, стало быть, лета, — и вернул все на свои места.

Меня уже совершенно не беспокоили удивленные взгляды пешеходов — и даже некоторых автомобилистов. В том числе и потому, что я уже знал: чтение суть занятие благородное и почетное, и отклик в чужих умах может иметь исключительно положительный.

Лучше всего реагировали встречающиеся нам старушки: они улыбались и одобрительно кивали — точно это они однажды посоветовали нам создать клуб, а теперь как бы переспрашивали довольно:

— Ну что, не пожалели? А мы говорили.

И поэтому я не стеснялся восклицать театрально:

— Лиза! Вернись!

Или:

— Спаси-ите! Тону-у!

И размахивать при этом руками, словно я сам тонул.

Но на меня Лиза почему-то не произвела того, прежнего эффекта. Возможно, на фоне моих личных восторгов по поводу Нильса — я и не сказал, что был просто ошеломлен, не мог дожидаться очередной прогулки, чтобы вернуться к чтению, порывался заглянуть вперед, и в душе моей поднималось из глубины то давно забытое, но когда-то важное и близкое, похожее на впечатления от встречи с весенней рекой — возможно, на фоне этих восторгов Лиза показалась мне где-то чуть более детской, где-то чуть более прямолинейной, а может, я просто разом вспомнил весь сюжет, едва взявшись за первые страницы, и теперь на исходе каждой главы знал, что будет в следующей.

Но Акке очень нравилось — возможно, даже, на мой взгляд, слишком понравилось, до какого-то надрыва — и я старался читать так выразительно, как только мог.

Погода в эту неделю разом испортилась — от бывшего сияния не осталось и следа, небо закрыло низкими облаками, и по углам свистел, гоняя бумажки, ветер. Парило, в воздухе висело ожидание грозы.

Гроза медлила, медлила — а потом вдруг нагрянула субботним вечером, за день до Аккиного отъезда.

Мы как раз дочитывали последние главы.

— Лиза взглянула на окно, и оно почему-то показалось ей знакомым, — сообщил я и увидел, как на страницах одно за другим появляются круглые пятнышки.

Небо над сквером потемнело, из-за заводской трубы — а если представить, что труба была не трубой, а маяком, то с моря — надвигалась огромная, размером, наверное, с город, черная туча.

Края ее болтались лохмотьями, казалось, что она сейчас заденет трубу — и втянет ее в себя.

Издаലെка угрюмо заурчал гром. По скверу заметался ветер, поднял облако пыли, согнул фонтанные струи. Рабочие на остановке заволновались и стали жаться под навес.

— Отступаем! — скомандовал я.

И мы двинулись через сквер в сторону дома.

— Лиза с жадностью втянула носом воздух. Пахло мышами, — читал я на ходу.

По каштановым кронам ударили первые крупные капли, ветер взвыл и перелистнул страницу.

— Ускоряемся! — скомандовал я.

Акка навалилась на коляску.

— Лиза расстроилась! — перекрикивал я ветер.

Ветер завыл громче, точно перекрикивал меня, тугие кроны разом превратились в барабаны на параде — но я не терял надежды успеть домой до того, как обрушится настоящий ливень.

Мы вынырнули из сквера, пересекли улицу и пробежали насквозь один из дворов.

И тут гроза потеряла терпение. Над домом сверкнуло, в туче что-то раскололось, и из нее хлынула потоками вода.

Поднялся страшный шум, мгновенно заблестели у бордюров и начали расползаться по тротуару лужи, кроны деревьев потемнели, налились тяжестью и поникли, сотрясаемые ударами.

Акка взвизгнула, наступила в лужу и накрыла голову ладонью, я взял управление коляской на себя, дернулся в сторону, и мы помчались к ближайшему крыльцу в надежде укрыться под его козырьком, а когда укрылись, то поняли, что успели промокнуть с головы до пят, и даже в книгу налилось воды.

Приютившее нас крыльцо выросло из приземистого трехэтажного здания, расположенного ровно на полпути к дому. Тусклыми бесцветными окнами оно смотрело на встающий напротив пятиэтажный дом, и с обеих сторон его стискивали изгибы серой — ромбами — бетонной стены.

Это была узенькая улочка, вся изрытая колдобинами — и потому обделенная вниманием автомобилистов. Да и пешеходов — в такую-то погоду.

Ямы на дороге были наполнены до краев, пенились, бурлили и понемногу соединялись в сеть озер мутными ручейками.

По козырьку яростно стучало, аккуратно высаженная вокруг крыльца сирень в испуге припала к земле.

Я заглянул в коляску — дочь ворочалась, хмурилась, но все же спала — вспомнил, что спать в дождь особенно сладко, и даже немножко ей позавидовал.

О том, чтобы продолжать путь, не было и речи: ливень усилился, потом еще немного — и вокруг крыльца стянулась плотная серебряная пелена, сквозь которую даже дом напротив стал казаться зыбким и полупрозрачным.

— У-Ф-М-С, — прочитала Акка, обернувшись на дверь.

Крыльцо принадлежало местному отделению Федеральной миграционной службы — в субботу вечером, конечно же, закрытому. Над дверью мигал удивленно огонек сигнализации.

— Ничего, — успокоил я Акку, — сейчас закончится.

— Мне вещи собирать надо... — уныло пробормотала она.

Но — не заканчивалось. Наоборот — хотя, казалось бы, куда уже? — ливень еще усилился, и теперь казалось, что даже решишь мы выпрыгнуть из-под козырька, сделать мы этого не сможем, потому как упремся в твердую, словно камень, серебряную стену.

— Ерунда, — фыркнул я, делая шаг назад, поближе к двери — крыльцо тоже понемногу заливало. — Будем читать.

И в такой обстановке, под грохот ливня и раскаты грома, мы дочитали «Сдобную Лизу» Виктора Лунина.

Акка стояла, сунув одну руку в карман, а второй покачивая коляску — дочь в какой-то момент проснулась, заворочалась, но потом, убаюканная покачиванием и стуком по козырьку, снова уснула — и время от времени вытягивала шею, косясь то на иллюстрации, то на темное по-прежнему небо.

— И при этом, странное дело, — торжественно закончил я, — никогда горчицу не ругают!

И закрыл книгу.

А потом снова открыл и протянул Акке — вспомнил про рецепты.

Акка выдохнула восхищенно и погрузилась в изучение, а я подкатил к себе коляску, заглянул под козырек и долго поправлял сбившуюся под теплым затылком подушечку. В коляске сладко пахло детским шампунем, и мне так понравилось в ней, что я даже не хотел высовываться — и думал, что если бы можно было вдруг уменьшиться — до размеров, например, Нильса — я бы с радостью юркнул в теплый, сладко пахнущий, бледно-голубой космос и прикорнул бы где-нибудь с краешку, подтянув к себе уголок одеяльца.

А Акка пусть, как дождь перестанет, катит нас обоих домой.

Акка изучила рецепты, попросила книгу себе — экспериментировать, и мы какое-то время стояли на крыльце, глядя то на зажигающиеся по одному окна пятиэтажки, то на светлеющее вдалеке небо.

Небо светлело, светлело, в нем клубилось, набирало силу песочно-желтое сияние — и наконец ливень стал понемногу утихать. Когда он был уже не ливнем, а скромным, мерцающим в сиянии дождиком — его даже дождем язык не поворачивался назвать, — мы решили не испытывать судьбу, способную одарить нас вторым актом, и, втянув головы в плечи, перепрыгивая лужи и пробуксовывая коляской, направились домой.

Дома нас ждали кренделя и обжигающий, дышащий паром чай с лимоном.

А меня еще и борщ со сметаной.

## Льюис

На море Акка взяла «Мэри Поппинс». Сама купила ее по моей рекомендации в день отъезда — отпросившись у бабушки в книжный.

И за отдых прочла. И осталась, по ее словам, очень довольна — а могло ли быть иначе? Впрочем, мне уже казалось, что и «Мэри Поппинс» при всем своем великолепии для Акки — книга слишком детская.

А ко мне тем временем прилетела вместе с первым дуновением осени бандероль — не жарким уже, а совсем по-сентябрьски теплым днем я отщипнул краешек от положенного обеденного перерыва, заехал на почту, потолкался в очереди — и, сойдя с крыльца, разорвал сто слоев оберточной бумаги, чтобы увидеть перед собой настоящее чудо.

Льюиса — Клайва Стэйплза Льюиса — я полюбил за его философские и религиозные трактаты, которые успел прочесть почти все в период, когда вновь открывал для себя чтение как таковое. Я исправно совершал набег на книжный, перерывал пахнущие типографской краской полки, выуживая из дальних рядов очередной льюисовский том, а через несколько дней, самое большее — неделя, прибежал за следующим.

Тогда-то и встал вопрос о необходимости в квартире стеллажа.

Трактаты я прочел — и был готов по ним кандидатскую защищать, а вот в самое известное его творение — в Нарнию — я почему-то все никак не мог заглянуть. Я, ко-

нечно, слышал о ней — и подростком видел отрывки из экранизаций — но то ли считал себя уже слишком взрослым (а кто на этом свете взрослее подростков?), то ли не решался погрузиться в многотомный эпос: издали «Хроники Нарнии» казались мне чем-то исполинским, вроде «Властелина колец» с «Сильмариллионом» и «Хоббитом» по оба плеча — откуда же я мог знать, что каждая часть «Хроник» представляет из себя разумного объема повесть, написанную по-люйсовски легко?

«Умный гусь» и необходимость подбирать книги на повестку сподвигли меня побороть прежние опасения и обратиться к нарнийским берегам с просьбой о швартовке.

Первую часть цикла я решил заполучить в библиотеку клуба в наилучшем издании из возможных — и, перевернув вверх дном все книжные города, заказал «Лев, колдунья и платяной шкаф» с тем, чтобы получить его на почте в ста слоях оберточной бумаги.

И оно того стоило.

На широкой, как плато — книга не влезла в рабочий портфель, — глянцевого обложке я увидел двух девочек — тогда я еще не знал, что их зовут Люси и Сьюзен Певенси, сидящих на спине огромного льва, тогда я еще не знал, что его зовут Асланом. Девочки смеялись, название книги горело золотом, а лев летел над землей — далеко внизу из моря лесов вставали башенки замка.

На обложке было особо отмечено имя иллюстратора — Кристиан Бирмингем — и, в принципе, по одной обложке можно было понять почему, но, распахнув книгу, я просто ахнул: мало я видел в жизни иллюстраций красивее — а уж я в этом плане, поверьте, человек бывалый. Это, в принципе, были уже не иллюстрации — это были картины.

Увидь я такое в детстве... Они бы снились мне всю жизнь.

Я забрал книгу, определил ей почетное место в стеллаже — и стал ждать Акку с моря.

Я думал она придет черной, как уголек, но она приехала прежним негритенком — на этот раз юг не порадовал отдыхающих погодой.

— Зато прочитала «Мэри Поппинс», — сообщила она.

— И как?

— Да здорово, — ответила Акка. — Очень даже.

Но в этом «очень даже» — в совокупности с «да здорово» — мне послышалась какая-то натянутость.

Акка приехала в последние дни лета — ей предстояла подготовка к школе, у нас она появилась только раз, с гостинцами, на бегу, и я успел лишь показать ей новую книгу — без прогулки.

Акка ахнула — ее тоже сразили картины.

— Бросай школу, — посоветовал я, — будем чаще читать.

Акка засмеялась — она была бы не прочь.

И впервые с Люйсом мы вышли гулять только на второй неделе сентября — в субботу. День стоял погожий, в воздухе пахло листвой, мы — наученные — запаслись зонтами и отправились в Пролетарский сквер. По пути я не читал — начать хотелось в торжественной, спокойной обстановке.

Но Пролетарский сквер в тот день нам такую обстановку обеспечить не мог: в самом его центре, возле замолчавшего фонтана рабочие вскрывали асфальт отбойными молотками. Грохот стоял такой, что с веток падали, трескались и в ужасе катились прочь блестящие каштаны.

Мы даже не зашли в сквер — остановились, посмотрели издали и сделали вокруг него широкий круг, чтобы не разбудить дочь.

— Может, закончат сейчас... — предположил я.

Акка ничего не ответила — смотрела в телефон.

Мы немного постояли, глядя, как снуют у фонтана фигурки в оранжевых жилетах, послушали, как разлетается по улице дребезжащее, спотыкающееся эхо.

— Нет, — сказал я. — Эдак мы до обеда прождем. Пошли искать другое место.

И мы нашли! О-го-го как нашли! Это был настоящий подарок!

Мы попетляли по улочкам, прошли мимо почему-то закрытых — с табличкой, в середине дня — дверей кофейни, миновали один двор, второй, третий, вышли к центральному перекрестку, я посмотрел из-под ладони вдаль и щелкнул пальцами.

— Только бы не заперто, — пояснял я, ведя клуб к невысокому двухэтажному зданию, накрытому треугольной крышей.

Здание тесно стояло в ряду соседей, но казалось совсем маленьким — из-за того, что смотрело на улицу своим торцом. В торце не было ни двери, ни крыльца — зато слева в белой, со своей треугольной крышей, стене темнел проем с железной, прутья и вензеля, дверью.

— А можно?.. — засомневалась Акка.

— Мы ж не стекла бить, — фыркнул я, толкая теплую, тяжелую дверь рукой. — Если что, извинимся и уйдем.

Дверь поддавалась, скрипнула — и мы шагнули в низенькую, темную арку.

— Прикрой только, — попросил я Акку, принимая коляску.

Дверь снова скрипнула, негромко звякнула, мы прошли через арку и оказались в небольшом вытянутом дворике — пустом и тихом, наполовину скрытом в тени здания.

Над двориком светилось синее сентябрьское небо в белых разводах облаков, вдалеке, из-за стены у противоположного края, выглядывала макушка нашей трубы — маяка — бело-розовая.

Справа от арки во дворик спускалось крыльцо с перилами, которого так не хватало в торце, а рядом с ним, в углублении расположилась композиция из пышной цветочной клумбы и широкой, изящно выгнутой скамейки, вдобавок ко всему укрытой под навес.

— Здо-орово, — протянула Акка.

Я довольно кивнул.

Я знал об этом дворике — сокрытом от посторонних глаз за железной дверью и аркой — с пятнадцати лет, с того времени, как на протяжении двух месяцев регулярно поднимался по этому крыльцу, а потом — по скрипящей, узкой лестнице на второй этаж — и обучался работе с персональным компьютером в вытянутом полутемном кабинете.

Во-он те окна, кажется.

В мои пятнадцать у всех вокруг стали появляться дома компьютеры, я лежал попереки коридора у входной двери и молил родителей о покупке, они поддались, но прежде отправили меня набираться знаний на ближайших курсах — чтобы я ненароком не взломал официальный сайт правительства или не ввел компьютер в режим самоуничтожения. Ближайшие курсы, как уже понял внимательный читатель, располагались именно в здании с аркой и двориком.

Из пятнадцати человек обучающихся ровесников у меня было двое — остальные юзеры помнили Бородинское сражение.

Пройдя курсы и получив удостоверение благонадежного пользователя, способного отличить энетр от эскейпа — «интер» и «йеск» в интерпретации лектора — я на долгие годы забыл и про дворик, и про крыльцо, и про клумбу — и даже само здание перестал замечать, хотя то и дело проезжал мимо. А потом оказалось, что именно в нем располагается ремонтная мастерская, в которую с какого-то момента понадобилось ежемесячно возить многострадальный офисный принтер, жующий бумагу и плюющийся чернилами в тех, кто пытался его от жевания отучить.

Мы с Аккой сели на скамейку перед клумбой, пристроили рядышком коляску — так, чтобы ее можно было время от времени покачивать, — я раскрыл книгу и, прочитав горло, начал:

— Жили-были на свете четверо ребят... Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси...

Не успел я подобраться ко второму абзацу, как щелкнул несколько раз замок — и на крыльцо вышел, хрустя яблоком, сторож.

Вышел и вопросительно уставился на нас.

— Мы тут книгу читаем, — пояснил я вполголоса и показал на коляску. — Мы не надолго. Если можно.

Сторож прищурился, приглядываясь к книге, подумал, посмотрел на яблоко в своей руке и скрылся за дверью.

Он, наверное, помнил меня — с принтером.

И мы продолжили читать.

— Все согласились, что лучше игры не придумаешь, — читал я. — Так вот и начались их приключения.

Так вот и мы вступили на благословенную нарнийскую землю — в тихом дворике с огромной пестрой клумбой, вечером и в выходные свободном от автомобилей и посетителей с принтерами, на удобной, с высокой спинкой, скамейке и видом на противоположное здание, тоже двухэтажное, в окнах которого отражались облака.

Клумба, к слову — какая там клумба! взрыв гуашевых красок! — сыграла свою роль в присвоении дворику своего секретного клубного имени.

— Надо этому, — сказал я раз, обводя дворик рукой, — какое-то название дать.

Акка, в перерывах между чтением наворачивающая круги вокруг клумбы — с телефоном, фотографируя цветы, — согласилась и задумалась.

— Надо, — сказал я, — вычленив самые яркие составляющие.

Сообща мы определили два пункта: цветы и тишина. Получалось, что дворик должен был называться либо «Тихие цветы» — и это было бы, конечно, не совсем точно, потому что и за пределами клумбы, до самой арки царило таинственное, странное даже при близости к дороге беззвучие — либо «Цветочная тишина». «Цветочная тишина» мне казалась такой же неуклюжей, как и «Умный гусь», — но, как и в случае с Зощенко, я был опьянен чтением и решил, видимо, что неуклюжесть — не преступление и нечего искать добра от добра, а потому пусть будет «Цветочная тишина».

Акке название понравилось.

К сожалению, из-за навалившейся учебы она не могла выбираться на прогулки с прежней частотой — в итоге чтение растянулось на весь сентябрь и захватило половину октября. Читать мы старались в «Цветочной тишине», примелькались сторожу — и временами он даже вел с нами литературные беседы.

— Хемингуэя люблю, — говорил он, кусая то яблоко, то грушу. — И Лондона. Во мужики были.

Я вполголоса рассказывал, как читал в бане «Праздник, который всегда с тобой», не мог оторваться, подолгу сидел в раздевальном зале и в итоге простудился.

— И Толстого — Константиныча, — добавлял сторож. — Тоже во такой мужик был. Складывалось впечатление, что называемых авторов сторож знал лично.

Однажды он поймал меня на пороге с принтером.

— Я в отпуск иду, — прошептал он. — На неделю.

Я кивнул, поудобнее перехватил принтер и пропустил входящих следом за мной.

— Заменять меня парнишка будет, — продолжил сторож и скривился. — Шуганный... Здравствуйте.

Он поздоровался со спускающимся по лестнице мужичком и молчал, пока тот не вышел на крыльцо.

— Шуганный, говорю. Ворота закрывать будет.

Я понял, к чему он ведет, и пожал плечами.

— Я попробую с ним договориться, — зашептал сторож еле слышно. — Но если что, могу дать ключи.

Я запротестовал — и чуть не уронил принтер. Сторож подхватил его со своей стороны.

— Все в порядке, что вы, — говорил ему я. — Мы пока где-нибудь еще позаседаем, не нужно.

Сторож пристально посмотрел на меня, важно кивнул, хлопнул твердой ладонью по плечу.

И в ту неделю — раз или два — мы вместо «Цветочной тишины» бродили по Пролетарскому скверу, от которого уже отстали рабочие. Вечера были теплые, разгар бабьего лета, сквер пронизывали, расплетаясь о стволы, густые янтарные лучи, и в них блестели проплывающие по воздуху паутинки. Тут и там падали, стучаясь о тротуарную плитку, каштаны, и Акка набивала ими карманы. Мы выходили из сквера с дальнего края, останавливались и по очереди метали каштаны в сторону заводской стены — кто дальше. Смотрели, как каштаны скачут по парковке, отпрыгивая от бордюров, вихляя из стороны в сторону и сверкая в янтарных лучах.

Я был просто очарован Нарнией — и Акка, конечно, тоже. Но прежнего блеска в ее глазах я почему-то уже не видел. Я стал присматриваться, прислушиваться к тому, что она говорит, как отзывается о прочитанном, и понял, что за время, прошедшее с чтения «Моего Марса», Акка сильно повзрослела, изменилась — и повзрослела не благодаря клубу, не в этом смысле, а просто повзрослела, потому что пришло время. Поняв это, я уже не мог отделаться от мысли, что присутствую при переломном моменте — превращении вчерашнего ребенка в подростка — и затухание былого интереса к «Умному гусю», восторженного и открытого, связывал только с этим. Нарния касалась глубин души, тянула наружу какие-то сокровенные, другой книге недосыгаемые искры, раздувала их, но что-то ощутимо изменилось и продолжало меняться — любой, кто хоть раз в жизни руководил каким-нибудь клубом, держал руку на его пульсе, болел за него и чутко воспринимал настрой в его умозрительных стенах, меня поймет.

Вышел из отпуска сторож — и мы вернулись в «Цветочную тишину». Читали, рассматривали иллюстрации — картины! — коротко обсуждали. Я вытягивал из коляски проснувшуюся дочь и держал за обе руки, пока она ходила вокруг клумбы нетвердыми, проваливающимися младенческими шагами. Показывал на цветы, отмахивался от комаров.

— Это вот бархатцы, — тыкал я пальцем в круглые, похожие на оранжевые угольки бутоны, — а это...

Я поднимал глаза на крыльцо и спрашивал у сторожа:

— А это что?

Он с важным видом отвечал. Он знал все цветы, растущие в клумбе, некоторые даже по-латински.

— *Troaeolum*, — говорил он, не переставая жевать. — Старушка моя — мастер спорта по садоводству, хочешь не хочешь, а нахватаешься.

Акка сидела на скамейке, глядя в телефон — хмурилась, щелкала по экрану пальцами.

Перед тем как закончить главу — и перейти к следующей, последней — я хочу рассказать о том, что произошло ближе к середине истории о платяном шкафе и что не касается ни темы клуба, ни темы взросления, ни темы прогулок или моей любви к чтению, а говорит исключительно о выбранной нами книге и творческой проницательности ее автора.

Мы сидели в «Цветочной тишине», день был солнечный, но по синему небу плавали туда-сюда облака, и даже нет-нет а цокал по козырьку над скамейкой меленький, светящийся — грибной — дождик.

Четверо же Певенси сидели в доме мистера Бобра и миссис Бобрехи — они поужинали, покончили с рулетом и принялись за чай. Мистер Бобр зажег свою трубку и начал рассказывать детям об Аслане — Великом Льве Нарнии, встречи с которым по тексту еще не произошло.

Акка слушала-слушала, а потом улыбнулась и перебила меня:

— Мне почему-то уже нравится Аслан.

Много персонажей нравились Акке за время существования клуба — в «Путешествии Нильса», например, их количество можно было измерять десятками, — но ни одну симпатию она не озвучивала вот так, по ходу чтения, тем более — касательно персонажа, в тексте еще непосредственно не появившегося, тем более — с таинственной оговоркой «почему-то».

Я разволновался, вернулся на пару страниц назад и перечитал:

«И тут случилась странная вещь. Ребята столько же знали об Аслане, сколько вы, но как только бобр произнес эту фразу, каждого из них охватило особенное чувство. Быть может, с вами бывало такое во сне: кто-то произносит слова, которые вам непонятны, но вы чувствуете, что в словах заключен огромный смысл; иной раз они кажутся страшными, и сон превращается в кошмар, иной — невыразимо прекрасными, настолько прекрасными, что вы помните этот сон всю жизнь и мечтаете вновь когда-нибудь увидеть его. Вот так произошло и сейчас. При имени Аслана каждый из ребят почувствовал, что у него что-то дрогнуло внутри».

### Льюис

К тому времени, как мы закончили первую книгу нарнианского цикла, теплое бабье лето с золотым шелестом уплыло куда-то за горизонт, и ему на смену пришли дни неуютные, ветреные и пасмурные. Сквер поник и помрачнел, клумба в «Цветочной тишине» осыпалась — и Тишина перестала быть цветочной; хотя и Тишиной была уже навряд ли: во дворике кружился, завывая, раскидывая невесть откуда занесенную листву, ветер, и сторож теперь выходил на крыльцо в тяжелой черной куртке с капюшоном, надвинутым на глаза.

Акка совсем замоталась с учебой — в учебу — и жаловалась на то, что задают много, а объясняют как-то вскользь, что вот-вот придется звонить репетиторам, а это значит — прощай, свободное время, подружки и купленные для крытого льда коньки.

— Что будем теперь читать? — спросила она как бы походя, помогая жене с экипировкой малыша.

Я не мог и подумать о том, чтобы покидать Нарнию, едва в ней оказавшись.

— «Принц Каспиан», — прочла Акка, приняв от меня книгу. — Как правильно — Каспиан или Каспиан?

Я и сам не знал.

К сожалению, с иллюстрациями — картинками! — Кристиана Бирмингема на русском (а может, и вообще) была выпущена только первая повесть из семи, но сожаление мое, впрочем, было призрачным и облачком качалось под потолком книжного ровно до того момента, как я открыл купленный том — а при первом взгляде на изящные черно-белые, точно тушью написанные, рисунки Бэйнс Паулин в миг растаяло, не оставив ни следа.

Как я узнал потом, иллюстрации Паулин для Нарнии были тем же, что Лаптева — для «Незнайки» и Викланд — для «Карлсона». То есть вечной, хрестоматийной, максимально оригинальной — сросшейся с текстом — классикой.

На обложке тома, в котором помещались четыре повести, включая уже прочитанную нами, трубил в завернутый узлом рог фавн, а перед ним, в овальной рамочке кто-то летел на пегасе мимо горных хребтов.

На прогулки ходили с зонтами — ни дать ни взять заправские англичане.

— Жили-были четверо детей, которых звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, — начал я, едва мы оказались в продуваемом всеми ветрами дворе.

Акка бросила на меня удивленный взгляд.

— Вы уже читали книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф», — продолжил я, выдержав паузу, — где рассказывается об их замечательных приключениях.

Акка довольно кивнула и ответила, обращаясь не то ко мне, не то к сэру Льюису:

— Читали.

— Все это случилось год назад, — я снова сделал паузу: для дорогих Певенси прошел год, а у нас и недели не минуло, — а теперь все четверо сидели на скамейке на платформе железнодорожной станции...

И как нарочно, издалека дотянулся до нас, перелетев и Пушкинский парк, и «Цветочную тишину», и помрачневший Пролетарский сквер, едва различимый гудок поезда.

— Это была пустая сонная сельская станция, и на платформе, кроме них, никого не было...

Но с чтением «Принца Каспиана» — так, казалось бы, замечательно начавшимся — у нас не задалось. Акка приходила все реже — и даже не из-за учебы, а потому, что выбирала для заполнения сократившегося свободного времени какие-то другие, свои, занятия. Читали мы в итоге с большими перерывами — история растягивалась, дробилась, и что-то даже приходилось освежать в памяти — возвращаться, перелистывать. И, как уже говорилось в предыдущей главе, я все время думал и ощущал, что Акка меняется или уже изменилась, и «Умный гусь», прежде крепкий и цельный, как каменная глыба — пусть и не великая по размеру, теперь скрипит и раскачивается, точно сарайчик на ветру.

Читали мы везде — потому что прятались от холодного октябрьского ветра. Читали и в «Цветочной тишине» — которая уже была только воспоминанием о самой себе, — читали в сыром Пушкинском парке, читали, семена мимо облетевших, похожих теперь не на башни, а на великанские веники, поставленные стоймя, тополей — посетители кабачка носа не показывали на террасу, а если показывали, то тут же прятались внутрь или ныряли в тархтящие такси. Читали в Пролетарском сквере, который тоже вдруг как-то вмиг, в один, может быть, день облетел, укрыв газон и дорожки темной листвой. Читали и на стадионе, с которого вообще была опасность оказаться сдутыми и перенесенными через реку.

Бабушек и спортсменов эта опасность, впрочем, не смущала.

И в итоге за месяц мы не прочли и половины текста.

— ...Свежий воздух сада, горячее рукопожатие доктора, бег через лужайку, приветственное ржание Скакуна, и король Каспиан Десятый оставил замок своих предков, — читал я, когда мы брели, подняв воротники и пониже опустив козырек коляски, через сквер.

Голые кроны кололи низкое, серое небо, вдали картонной фигуркой вставала заводская труба, нахмурившись, спешили по дорожкам рабочие — а листва, еще позавчера сплошь закрывавшая газон, теперь была собрана в аккуратные треугольные кучи, высотой мне по пояс. Казалось, сквер пережил нашествие гигантских кротов.

— Сквер пережил нашествие гигантских кротов, — сообщил я Акке.

Акка сперва не поняла, решила, что я не сказал от себя, а прочел о кротах в книге, посмотрела недоуменно, потом огляделась и усмехнулась.

— Да, похоже...

Мы прошли сквер насквозь, вернулись, обогнули застывший, никогда, казалось, не бивший фонтан и, осознав, что продрогли, двинулись в сторону кофейни — перешли улицу, свернули, юркнули в гудящий ветром закоулок.

Но кофейня оказалась закрыта — и не просто закрыта, а темна и пуста, даже без таблички на двери.

Даже без вывески над дверью.

Я подошел к мутному окну, сложил ладони домиком и заглянул внутрь. О том, что в сером, усыпанном строительной пылью помещении раньше пили кофе и писали в блокнотики цитаты из Паустовского, напоминала только голая, выгнутая стойка, неизвестно зачем оставленная, и темные шляпки саморезов по стенам, в тех местах, где висели картины.

По кафельному полу извивались змеями кабели, в углу были свалены инструменты и какое-то тряпье.

Акка расстроилась. И я расстроился — мне даже стало стыдно за то, что мы не били здесь чаще, летом. Казалось, кофейню закрыли именно из-за нашего долгого отсутствия.

Замерзшие, шмыгающие носами, мы почти бежали домой, держа наготове зонты. Я порывался читать, но Акка не слушала — да и не очень-то удобно читать на бегу.

Последнее заседание «Умного гуся» состоялось угрюмым ноябрьским вечером на сером подносе стадиона.

Ветра, как ни странно, не было, но над стадионом, над рекой, над далеким берегом в огнях лежали плотные, густо-серые облака. Река слабо серебрилась, но точно стояла на месте, забыв о том, что надо нести воды слева направо.

— Долго еще можно перечислять тех, кого Каспиан встретил в этот день, — нарасспев читал я. — Крота Землекопа, трех братьев Острозубов — они, как и Боровик, были барсуками, — зайца Камилло...

Мы остановились на площадке в углу стадиона и стали всматриваться в противоположный берег. Он был как будто еще темнее, чем наш — по нему искрами рассыпались фонари, гирляндой тянулись по проспекту огоньки фар. Изумрудный летом — от крон, — теперь он возвышался над рекой тусклый, неприглядный, неаккуратный даже, точно с него соскребли краску. На самой его макушке — на одной из — белел на фоне темного неба загадочный дом, который я все-таки увидел раз вблизи — прогретый по ямам узкой, вертлявой улочки и чуть не доломав многострадальную — каждый автолюбитель-провинциал меня поймет — подвеску.

Вблизи дом не выглядел таким уж загадочным — вокруг него сновали прохожие, парковались машины, и в одном из окон стояли рядом кактусы в горшках.

За нашими спинами раздался грохот: во дворах кто-то решил скрасить вечер залпами салюта. С крыши ближайшего дома сорвалась и рассыпалась по небу птичья стая, полетела вдоль реки, задевая крыльями облака. Разноцветных огней мы не увидели — лишь слабые, бледные отблески моргали над коньками крыш, салют ударил еще несколько раз и затих — только эхо покатило мимо стадиона по дворам, ломаясь и переходя в треск.

Я приподнял козырек коляски — не разбудили ли?

— Наступило такое долгое молчание, что Каспиан уже почти заснул, когда ему показалось, что из глубины леса доносятся слабые звуки музыки.

Когда мы покидали стадион, с неба вдруг посыпался мелкий, сухой снежок — он сыпался медленно и ровно, сверху вниз, перпендикулярно земле и ложился на темную, пожухлую траву, на разлинеенные дорожки, на прижимающиеся к ограде кусты.

— Первый снег, — задумчиво прокомментировала Акка, как бы ни к кому не обращаясь.

### Эпилог

В следующий раз Акка пришла к нам только в декабре, когда снег — не первый, не второй, а уже, наверное, третий — растаял и по дорогам зачавкала грязь. Мы все посидели дома, попили чаю и поели кренделей, но на прогулку в тот день не отправились. Потом Акка заходила еще — по каким-то мелочам, к жене. Про чтение не заговаривала — и я не стал навязываться. Потом мы были у нее в гостях, потом завертелась предновогодняя суета, в первых числах января ходили по родственникам от стола к столу, дочь на радость собравшимся лопотала первые «ма-ма» и «па-па». «Баба» с «дедой» давались с трудом, а глядя на тетю, дочь кряхтела, вытягивая шею:

— К-к. К-к.

Я фантазировал — не Аккой ли хочет назвать? — но, разумеется, понимал, что «К-к» — это не Акка, а Ксюша, и назови я отчего-то Ксюшу Аккой, она, наверное, рассмеется смущенно, потому что странно носить секретное клубное имя, когда клуб свою деятельность уже прекратил. А что он свою деятельность прекратил — в этом сомнений не было. И даже я внутренне с этим смирился.

Причем смирился как-то легко, безболезненно, восприняв происходящее как само собой разумеющееся. Я смотрел на бывшую Акку, на то, как она меняется, на то, как даже разговаривает иначе, на закинутую за ухо лиловую прядь — это вдруг стало модным, и от лиловых прядей в глазах рябило, — смотрел и думал, что «Умному гусю», кажется, удалось запрыгнуть в последний вагон уходящего Аккиного детства, застать ускользящую, волшебную пору, что, быть может, он и собран был только для того, чтобы конкретная Акка, занесшая ногу над порогом, отделяющим мир ребенка от мира подростка, закинула на плечо какой-то важный багаж, смысл и назначение которого раскроются позже, когда-нибудь, в свое время.

Мне казалось, что Акка — наша с дочкой Акка, пугавшаяся за упавшего в воду Марса и хмурившаяся портрету Чехова — отправляется в таинственное путешествие, вроде как даже в дальнее — на годы! я-то помню свое — плавание к новым, неизвестным берегам. Что ее ждет в этом путешествии? Какие опасности встанут на ее пути, какие радости бросят лучи на лиловые паруса, какие острова будут открыты, какие шторма пройдены насквозь?

И когда, в какой момент, в каком возрасте она причалит к давно позабытому заснеженному стадиону — или другой, неведомой мне пристани ее детства, чтобы и к ней можно было применить то, о чем сказано в эпитафии к этому тексту?

Читатель ведь не думал, что я столь помпезно, на вылом глаз, отнес эпитафию на свой счет?

Вот и все. Так из зимнего, солнечного стадиона вырос, постоял под весенними дождями, прокалился в июльском зное, пропитался душистым ветром бабьего лета и растворился в угрюмом ноябрьском вечере один из множества читательских клубов, которые, как пузыри на воде, возникают то тут, то там и которые, конечно же — каждый! — несут в себе какой-то особый смысл и значение.

А кофейню к весне открыли.